

## Иным либерализм уже был Диссидентство в советско-русской политической традиции

*Глеб ПАВЛОВСКИЙ*

**Л**иберализм в американской транскрипции, о котором пишут Борис Межуев и Александр Павлов, сегодня нам кажется странным. Но еще сорок лет тому назад – в эпоху «второго освободительного движения» 1953–1983 годов – в нашей стране он мало кого бы удивил. Тот русский либерализм забыт и припечатан «диссидентством» – словом, смысл которого ныне обнулен комизмом Валерии Новодворской и состарившегося Сергея Ковалева. Между тем он сильно отличался от современного российского тезки.

Либеральный язык после Сталина разрабатывался вокруг проблем, отчасти похожих на американское шестидесятиничество – проблемы вытеснения насилия и садизма из социальной среды, тем памяти и коллективной вины.

Освободительное действие, как предполагалось, обязано было быть исторически искушенным, чтобы избежать судьбы революций Февраля и Октября. Отдельной задачей и темой рефлексии стояла судьба русской интеллигенции в возвращении насилия (демиургическая роль интеллигенции при этом виделась преувеличенной).

Насилие трактовалось как незаконная репрессивность, подстрекаемая политическим нетерпением (отчего слова «политическое» и «политик» с конца 1950-х превратились в бранные). Репрессивность понималась как опасная предрасположенность, все еще тектонически активная подпочва страны, выходящая наружу при любом сильном потрясении. Отсюда ТЗ для освободителей – никаких новых потрясений! В поисках безрисковой модели освободительного действия выдвинули идею «неполитического движения» – достаточно оригинальную, позднее (десятилетием позже, в 1970-е) акцептированную Вацлавом Гавелом и польскими либералами. Либеральная концепция в течение великого двадцатилетия 1950–1970 годов строилась не вокруг экономической свободы, а вокруг свободного человека в сообществе, его состояния и прав. Она не ставила под вопрос ни право человека на сильное суверенное государство, ни право на радикальный исторический проект.

Подозрение к авторитетам и вождизму любого рода у либералов того времени было прочным и культурно аргументированным. (Поэтому смешно сегодня слышать об академике Андрее Сахарове, Александре Солженицыне и даже Владимире Буковском как о «лидерах диссидентов». Движение действительно было движением равных.)

Уже тогда, с 1960-х, возникает особая общественная чувствительность либералов к «бархатному садизму» постсталинской системы. Защита от психиатрического насилия – тоже изобретение советского либерализма, позднее подхваченное в Европе. Известия о принудительной госпитализации и психиатрическом лечении инакомыслящих – дела Жореса Медведева, Петра Григоренко и других – стали шоком и сигналом к действию. Эта реакция, в сущности, была открытием для либеральной политики совершенно новой политической области (принудление считалось одной из мягчайших форм репрессии сравнительно с тюремно-лагерной). Психушки впервые рассматриваются как политическая проблема именно в СССР в 1960-е годы, что после 1968-го было подхвачено и усилено позицией таких западных интеллектуалов, как Фуко.

С середины 1960-х годов либерализм приступает к непрерывному политическому экспериментированию в реальном (то есть опасном) пространстве. Причем сразу по нескольким направлениям – уличное действие, защита других, культурная работа, массовые коммуникации. В каждом из этих полей упор делается на идейную безупречность формы – декабрьские демонстрации у Пушкина, правозащитный конституционализм, элегантная подчеркнутая фактологичность «Хроники текущих событий» (ХТС), задающая стиль Самиздату. Этот стиль становится стилем Движения.

В 1960–1970 годы Движение не просто существует, но становится фактором влияния, формируя более светлый политический и общественный климат системы. Этот климат между 1965 и 1975 годами создал уникальное состояние советского общества, либеральную атмосферу великих возможностей и достижимого освобождения.

Хуже всего в Движении было с концепцией «демократизированного Союзного государства». Концепции не было. Ее место занимала прагматика давления на это государство ради его «демократизации». Построение иного государства не вышло актуальной задачей, а принесение жертв Движением вошло в привычку и стало рассматриваться как автоматическая подпитка. Между тем внутренние ресурсы Движения исчерпывались. Представление о механизме «жертвенного давления» сдвигалось от внутреннего к внешнему. С этой точки зрения движение 1950–1980 годов было чрезмерно глобалистским и «ялтоцентричным». И оно не отвечало на вопрос – что ему делать в невероятном случае успеха? Поэтому, в частности, оно выпустило из вида важное окно возможностей в 1975–1977 годах, когда на мировой арене действительно сложилась желанная конstellация. Подписаны были Хельсинкские соглашения. Но дальше Хельсинкской группы дело не пошло. Если в Восточной Европе местные движения пытаются – иногда безуспешно, как в Чехии и Польше, – использовать конъюнктуру для преодоления изоляции, в России ничего подобного не происходит.

Политический адресат позднего диссидентства 1970-х годов – концерт держав-менторов и наставников СССР, строго надзирающих за неприкосновенностью жертвенной либеральной общины. Но легко ли приносить личные жертвы в пользу геополитической конструкции, в которой мировые СМИ заменили уязвимые коммуникации Самиздата, а под «оглаской» понималось иновещание на русском языке.

*Движение 1950–1980 годов было чрезмерно глобалистским и «ялтоцентричным». И оно не отвечало на вопрос – что ему делать в невероятном случае успеха*

Одновременно расширяется эффект открытого шлюза выезда на Запад. Почти каждый участник либеральной среды, за редкими исключениями, имеет выбор – выехать на Запад «через Израиль», отойти от Движения – либо подвергнуться уголовным преследованиям. Но выехавшие лишь незначительно сохраняют мировоззрение прежнего либерализма. Публицистика русской эмиграции отличается сектантским ожесточением, в ней легко угадать бессодержательную трескотню будничной гласности. От старого Самиздата она унаследует лишь неспособность к ведению содержательных, и особенно политических, дебатов. Тем временем собственное идейное продуцирование в либеральной среде исчезает и попадает в аудиторную зависимость от эмигрантской полемики («Континент», «Синтаксис» и т. д.).

Второй русский (советский) либерализм прекращается почти одновременно с Советским государством. Преемственность политического мышления и личной верности, не прерывавшаяся с конца 1950-х до конца 1970-х годов, рвется, а либеральная модель действия терпит кризис. Вслед за систематическими арестами участников Движения и просто активистов либеральной среды в Движении появляется отсутствовавшая прежде мстительность. Именно со второй половины 1970-х годов «диссидент» принимается в качестве самоназвания участника либерального Движения; «инакомыслие» утрачивается как этический принцип.

И только тогда – примерно с начала 1980-х – можно всерьез говорить об общественном застое. Подходит время экономических семинаров научной номенклатуры на Змеиной горке, борьбы с панками, видеомагнитофонами и – войны в Афганистане. Два-три года, прошедшие от конца Движения до начала Перестройки – ничтожный срок, но этот провал оказался непреодолимым. В дни многомиллионных демонстраций в Москве диссиденты еще попытаются выйти в политику, но места вождей будут заняты, и правила игры написаны другими. Концепция свободы при этом надолго уйдет на дно, чтобы обернуться позже реваншем либеральной репрессивности – парадом «шоковой терапии», «русских Пиночетов», «демократических прокуроров» и т. п. Сохраняясь в составе русской политической культуры, либерализм 1950–1980 годов будет ждать часа своей оценки и политической актуализации.

Возможна ли она? Неизвестно. Можно только уверенно сказать, что в случае возобновления разработки либеральной политики ей в русской политической культуре будет на что опереться.